

МАРЬЯ ДА ИВАН



ВЛАДИМИР НУНИЦЫН

Родился в Тамбове в 1948 году. Окончил философский факультет и аспирантуру МГУ. Работал на «Мосфильме», во ВНИИ теории и истории кино, в журналах «Литературная

учеба», «Советская литература», обозревателем «Литературной газеты». С 1993 по 1998 год вел авторские передачи в эфире радио «Маяк», с 1998 по 2014 год работал на Центральном телевидении.

Лауреат премии «Литературной газеты» (1988), премии имени А.П. Чехова (2008), журнала «Москва» (2019). Член Союза писателей России. Живет в Москве.

- Ваня, помидорчик хочу. Чтобы с трещинками зелеными у хвостика, а сам тугой такой, и не красный, а бурый! Спелый-спелый! Помнишь, какие ели в детстве? Даже не резали, ломали. В соль и с черным хлебушком! А он все равно сладкий!
- А как же, Маша, помню. Еще бы не помнить. В войну только грядка и спасала. Да когда не спасала?
- Сейчас таких давно не видала, даже на базаре. Куда пропал? Красные, а водянистые. И какая там сладость? А я бы сейчас того порезала в чашечку, бурого, да луковыми колечками забросала, перчику сверху, соли. И маслицем, как дождичком. Ух!
- Да-а, Маша! А самое-самое что?
- Что?
- Самое-самое потом чашку с оставшимся на доннышке маслицем, с мякотью да с перчиком, с зернышками желтыми – втянуть в себя с хлюпом и горбушечкой еще по стеночкам дособирать. Вот где коммунизм!
- Иван сидел у своего окна, Марья у своего. Свет падал одинаково на них.
- Помнишь, Марья, как после войны с якутами дружили? С Огаревыми из самого Якутска?
- Конечно, с Николаем Гавриловичем и Анной Петровной.
- А чудно, скажи, Маша, у якутов русских имен и фамилий побольше, чем у нас, а?

- Николаю Гавриловичу фамилия, наверное, по ошибке досталась. Хотели, наверное, Чернышевским записать, да напутал кто что.
- Старики добродушно посмеялись, глядя каждый в свое окно, в одно поле, над которым собирался в небе снег.
- А помнишь, какие белые грузди Гаврилыч-якут привозил в ведерке, под марлицей? Вот где наслаждение, какого наслаждения никто никогда не знал и не узнает на русской земле до скончания веку! – воскликнул Иван, еще и повел руками, будто оказался в театре.
- Марья необидно хмыкнула и заметила:
- Вот видно, не зря ты Гоголя второй день листаешь! Не хуже сказал.
- Его вилок тянешь, а он вцепился в нижнего, и ни в какую! Потом – чпок! И вот он, красавец, растопырился, толстый, как патиссон, с иголочками сосновыми на макушке! Король, а не гриб! Герцог Орлеанский! Ты шмяк его на тарелку, вилочкой прижал, а ножичком – жжик, и тут же его за рюмкой, в самую утробу! В рай! Оттягивать усладу! Жуть, как представляю!
- Даже мне захотелось, – мечтательно отозвалась Марья.
- В окна было видно, как ветер по вчерашней затвердевшей корочке поля набрасывается на свежий снежок, закручивает его вверх и тут же швыряет

понизу то влево, то вправо, играясь по-мужски, властно и весело. Иван и Марья смотрели, как затевается в поле пурга. Вдалеке, у самой кромки поля, снег туманил и размывал очертания леса, превращая их в прерывистую, вздрагивающую черту, за которой не было ничего.

В комнате стало темнее, чем за окном. Иван сказал:

- Почитай-ка мне после «капитанской», как там «герой», у Лермонтова. Хочу опять почувствовать после Сергеевича, кто – первый.
- А Гоголь твой?
- Вот после Гоголя – как раз хорошо.

Марья взяла со стола томик Лермонтова, лежавший на томике Пушкина. В обоих были закладки. Открыла по закладке, и это было начало «Героя нашего времени». Иван зажег лампу.

«Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о Грузии. Большая часть из них, к счастью для вас, потеряна, а чемодан с остальными вещами, к счастью для меня, остался цел.

Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Койшаурскую долину. Осетин-извозчик неумоимо погонял лошадей, чтоб успеть до ночи взобраться на Койшаурскую гору, и во все горло распевал песни. Славное место эта долина!» – прочитала Марья, как когда-то читала их общим с Иваном детям и детям других людей, давно, в местной школе, в той же, но теперь совсем иной стране.

- Как хорошо! – посветлел Иван и открыл по закладке «Капитанскую дочку» Пушкина. Сказал: – А теперь, Марья, слушай! – И тоже начал с самого начала: «Отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости своей служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 17.. году. С тех пор жил он в своей Симбирской деревне, где и женился на девице Авдотье Васильевне Ю., дочери бедного тамошнего дворянина. Нас было девять человек детей. Все мои братья и сестры умерли во младенчестве.

Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости майора гвардии князя В., близкого нашего родственника. Если бы паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о смерти неявившегося сержанта, и дело тем бы и кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук. В то время воспитывались мы не по-нешнему. С пятилетнего возраста отдан я был на

руки стремянному Савельичу, за трезвое поведение пожалованному мне в дядьки. Под его надзором на двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля».

Молча опять смотрели в поле. Было ясно, что метель не наберет силы для бурана. За оградой, совсем близко, своевольный ветер поймал в вихрь ворона и таскал его по насту, не давая взлететь. Черная птица не сдавалась и вырывалась из лап ветра, криво уходя вправо, на небольшой высоте.

Утром Иван сказал:

- Все, Маша. Надо решать к весне. Про огород забудь. Нет больше наших сил на огород. Одна дорожка, в город.

Она села на кровать, зашмыгала носом. Он подсел, обнял.

- Ну хоть похоронят пусть здесь, – прошептала она.
- В этом я с тобой согласен, – сказал Иван. – Это даже не подлежит обсуждению. И пусть только попробуют не похоронить!

Вспомнил, как лет пять назад наткнулся за дальним березняком на сельский погост. Уже брошенный, потому как давно опустело село, когда-то звавшееся Лазоревым. На самом краю с удивлением приметил свежую могилку, без ограды, без креста, видно, последнего отсюда человека.

А год назад, проходя мимо Лазоревского, свернул к кладбищу и не нашел того последнего холма. Земля ровняла забытый человеками погост, вытаптывая его молодыми березками и елями. Возвращала себе.

Иван сильнее прижал к себе всхлипывающую Марью, сам смахнул слезу.

- Обещаю, Марьюшка, здесь упокоимся, рядышком. Но спешить-торопиться давай не надо. Пускай мыши от нас еще побегают!



ИВАН ДА МАРЬЯ

- Притворяй скорее, холодно!
- Да уже! Наблюдай кордебалет! – Иван ногой в валенке задергивает за собой дверь. Спускает с рук дрова, шапкой обмахивается от заледенелых березовых опилок.
- Откуда, Маша, столько мерзавцев? От дури, от подлости, может?
- От дурости, – подумав, отвечает Марья.
- А подлость необозримая?
- Да какая подлость, Ваня, одна дурь!
- А забыла, как доносили в колхозный перелом? Как соседи деда с бабкой Марфой, с детишками в Сибирь законопатили? В голодуху хлебом с ними делились, а они? А? Опять тебе дурь? А как наша гов...ая «антиллигенция» не хуже саму себя сажала при рябом Иосифе? И сейчас гадят друг дружке? Это что, извиняйте, как?
- Дурь!
Иван смеется:
- Вот же ты упрямистая, Маруся! Значит, правду говорят – страна дураков! Дурак на дураке и дурнем погоняет. Веселуха, ничего не скажешь...
Подброшенные поленья тем временем ровно зашумели, защелкали уютно. Печь довольна, Мария это сразу чувствует, когда печи хорошо.
- Помнишь, как из учителей ушел? – не унимался Иван, поглядывая на нее синим глазом от печки.
- Ну?
- Что «ну», забыла, что ли?
- Да говори, тебе же самому охота пересказать.
- Это я к дури как раз вспомнил, пока за дровишками ходил. И правда, подлость так и прет, когда дурь! И безответственность, я тебе скажу.
- Издалека повел. Не иначе, опять за французские романы засел, как прошлой зимой. Неужто Гюго читаешь? Не мудри, говори прямее, я пойму.
- Какой Гюго? Скажешь тоже, Гюго! Ого-го! Астафьева вспомни, как он к концу-то обозлел! Вот! Один правду и сунул под нос народу-то, про него, про богоносца! Все его облизывали, все захваливали при партийной власти, а Петрович терпел-терпел и гаркнул как есть! Вот и мне вспомнилось, как из школы, от детишек, в вынужденную эмиграцию пришлось уходить. В бухгалтерию! Да еще в чужое хозяйство, за пятнадцать верст от дома.
- Забудь. Что было, прошло давно. Астафьев твой много чего другого понаписал, за что его будучи добром вспоминать. Чем шире человек, тем читать интереснее. Сам же говорил.
- Я тогда правда убить мог, Гусева-то! Ведь детишек вез, сволочь, а все равно нажрался, да прямо за рулем! Из-под мышки булькал в себя водку! Всю дорогу пил, гаденыш!
- Ваня, Ваня! – всполошилась Марья, поглядывая, как багровеет Иван, расковыривая давнее переживание.

— Едва ведь успел я!

Марья помнила тот день так же ясно, как нынешний, утекающий за крышу с облаками и дымом из трубы. Вместе ездили на экскурсию с пятью классами «А» и «Б» в Петришево, в музей Зои Космодемьянской.

Тогда этот Гусев (фамилия в суде открылась) прямо посреди железнодорожного переезда остановил мотор и упал головой на руль, в дупелину окоше! Первым Иван это заметил. Схватил водилу под корки и прямо от руля в дверь! Сам за ключ, рывком с переезда, так что Марья в проход шмякнулась на коленки. Потом кинулся к Гусеву, сволок с рельсов и тут, прямо у железной дороги, на глазах у детишек стал бить сапогами!

Вот этого Иван себе до сих пор не мог простить, что бил человека на глазах у детей! Ногами! И они на это смотрели.

Даже вскоре махнувший мимо состав с протяжной своей стальной чечеткой не остановил разъярившегося Ивана. И детей не остановил — так и глядели через стекла! Да как глядели!

Сам ушел из школы. Директор, Татьяна Петровна Елкина, просила не уходить. Умоляла. Тянул и физику, и математику. Да и русичку мог подменить, если что. Не хуже Марьи разбирался в литературных хитростях. Стихи наизусть так читал, что Марья, случайно однажды услышав из-за двери, как он на уроке вдруг стал цитировать Гумилева, заплакала, словно девчонка от неожиданного счастья:

*Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд,
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далеко, далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.*

*Ему грациозная стройность и нега дана,
И шкуру его украшает волшебный узор,
С которым равняться осмелится только луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озер...*

Тишина стояла в школьном коридоре, стояла в классе за дверью, а она роняла слезы и слышала эту тишину. Ей так и запомнилось — весь мир остановился, слушал стихи.

— Я вот что думаю, Маша. Не нужен нам город, зачем нам сниматься отсюда. Весна вот-вот, а как минует, потихонечку-потихонечку доживем без суетни до осени. И как Бог даст. Тут мы жизнь прожили, не хочу в город, детей полошить, обузу на них вешать!

— А помрем? Мы же с тобой одни на сто верст! Без газа, без света, одна печка-кормилица да погреб. Как в войну, с керосинкой. Дожились!

— А и помрем, так в своем дому. Когда-нибудь найдут, схоронят.

— А если я первая? Ты ж один и схоронить не сможешь, Ваня.

Иван задумался. Покрутил головой.

Ночью на печи слушал, как на чердаке, у слухового окна, скреблись, попискивали и коротко перебегали мыши. Семья мышей. Тоже тут их дом.

У этого слухового окна они с Машей, когда еще женихались, летом лежали, бывало, на сене, пока Машины родичи укатывали в райцентр на ярмарку. До сих пор дурманила Ивана память запахами травы, скошенной вместе с цветами. И видел опять, как солнце золотит голову Маши, ее обнаженные до локтей руки, ресницы ее золотит и золотит вокруг траву намятую, встрепанную, будто ветром перед грозой.

Марья дремала на кровати у стены, иконы из красного угла благосклонно смотрели на нее, подсвеченные лампадкой. От печи, на которой лежал и вздыхал Иван, свет от огня из-за приоткрытой, раскалившейся дверцы переговаривался с лампадным уютным язычком, и Марье было хорошо, спокойно на душе. Ее мир сейчас был полон, и в чаше этого ее мира стояло тихое равновесие сил, державших еще Ивана и ее здесь, в доме на краю поля, которое они с Иваном любили всю жизнь одинаково, она знала.



ФРАГМЕНТ ОЙКУМЕНЫ

Он появился будто из ниоткуда. В автобусе, доставившем смену в лагерь, я его не видел. Обнаружился он, как только я удачно захватил кровать в углу у стенки. С окном за головой, прекрасным обзором и максимально далеко от двери, в которую залетали пионервожатые – навести уставной порядок.

– Можно? – Он осторожно указал на пока не занятую соседнюю кровать. Тощий, как дистрофик, в перемотанных нитками очках, с исцарапанным чемоданчиком в одной руке и хозяйственной авоськой в другой. В авоське раскачивалась, как в дачном гамаке, гурьба книг из вожденной «Библиотеки приключений».

Я корыстно уставился на авоську:

– «Квентин Дорвард» есть?

В текущем, 1958 году, это был свежайший том, который не удалось раздобыть до отъезда. Очкарик утвердительно моргнул глазами, увеличенными за стеклами до абсолютной автономности существования.

– А «Последний из могикан»?

Очкарик моргнул еще раз, и я, широким жестом поведя в сторону свободной койки, сказал, как говорили герои из французских приключенческих романов все той же популярной «Библиотеки»: «Почту за честь, мусье!»

«Мусье» притулил авоську к теперь уже нашей общей тумбочке и доверчиво вытянул ладонь:

– Андрюша.

«Маменькин сынок», – подумал снисходительно я, испытав приятное социальное превосходство, словно он уже искал моего покровительства, как у более опытного пионера.

Очень быстро стало понятно, насколько различны наши планы. Андрей приехал явно только для одного – прочитать книги из авоськи, а я уже в первый вечер соорудил из гибкой орешины удилище, записался в футбольную команду, чтобы, как и в предыдущие заезды, участвовать в коллективной беготне за мячом, да и вообще во всех спортивных забавах. Отмечу, что к середине срока в моем чемодане, точь-в-точь таком же, как у Андрюши, может, чуть меньше исцарапанном, уже прижались одна к другой две почетные грамоты – за первое место в метании гранаты. И за прыжок в длину на 3 метра 80 сантиметров.

Грамоты я собирал для родителей. В качестве свидетельства не зря прожитого лета. Разумеется, помимо набранных килограммов чистого веса. Но этим отчитывались в конце пионерской смены поголовно все. Включая девочек.

Пока я тупо и энергично укреплял мышцы, мой худосочный сосед кое-как соорудил шалаш у самого забора лагеря, в дальнем, непролазном углу хвойного леса, и запоем читал в одиночестве свои книги из авоськи. Пару раз я был приглашен им

в гости. Уверен, никого больше Андрей сюда не позвал бы ни за что. В шалаше оказалось уютно, но читать темновато даже для очкарика. Я натаскал охапками разлапистого пружинящего папоротника – для подстилки, заменил несколько голых веток на пушистые маленькие елочки. И сделал ему окошко на забор, за которым открывалось бесконечное поле, – чтобы хоть какой-то свет попадал в его укрытие, при этом не обнаруживая отшельника для случайных пионеров-следопытов, обожавших ту же «Библиотеку», что и мы, а потому непредсказуемых в выдумывании приключений.

К этому времени, когда Андрей позвал меня в свой шалаш, я уже обглодал косточки романа шотландца Вальтера Скотта о Квентине Дорварде, оказавшемся в центре дворцовых интриг периода франко-бургундского противостояния, и приступил к «Последнему из могикиан» Фенимора Купера, легко перелетев через Атлантический океан из Франции XV века в Северную Америку века XVIII, дабы восхититься отвагой и ловкостью теперь уже не шотландского красавчика-дворянина, а индейца из племени могикиан – Чингачгука.

Андрей же взахлеб перечитывал романы и повести русского писателя-фантаста Ивана Ефремова «На краю Ойкумены» и «Звездные корабли», вышедшие в 1956-м, двумя годами ранее горячих теперь Квентина и Чингачгука. Лично я мало что из них, этих ефремовских романов, понял и потому скорее пролистал их, а не понаслаждался, как вот только что Фенимором Купером. Но Андрей, мне показалось, изучал Ефремова как учебник, делая в своем упитанном походном блокноте какие-то записи, чертежи, даже карты, как он говорил, космических маршрутов. И еще – он сказал мне это как самую «страшную» тайну: его мечтой было нарисовать саму Ойкумену как область обитания разумного человечества в бесконечной бездне космоса, включая и нас, землян.

Я смотрел в его глаза за толстенными стеклами очков, живущие отдельно от Андрея, в раздвинутые до самой глазной дужки зрачки, чем-то уже похожие на загадочную их с Ефремовым Ойкумену, и чуть-чуть подозревал, что он псих.

Сказать, что мы сильно сблизились, не могу. Он был симпатичен и удобен, поскольку не обременял. Да я и видел его редко. В нашей небольшой палате на десять коек Андрей один не играл в футбол. И не участвовал ни в каких соревнованиях.

Зато с остальными пацанами я не расставался целыми днями, крепко сплотившись на почве физической культуры и спорта. И не только.

Однажды Юрка Власик, претендовавший на роль нашего добровольного лидера, сложно гримасничая лицом и прижимая палец к губам, позвал к открытому окну в девчачью палату. Там склонилась над столом Вера, девчонка лет двенадцати, можно сказать – дылда, поскольку была ростом выше нас всех, исключая только Власика. Она, параллельно зависнув над столом, рисовала что-то в стенной газете. Юрка пощупал свою грудь и показал глазами на Верку.

Мы увидели через верхний разрез ее оттопыренного к стенгазете платья две маленькие, голые, очень аккуратные и красивые, одинаковые, как близняшки, груди, о существовании которых раньше даже не подозревали, потому что, когда Верка выпрямлялась, под платьем ничего такого выдающегося заметно не было. А тут вдруг объявилась целая грудь, размером не меньше двух крупных картошек!

Выяснилось, что никто из нас такого раньше не видал. Даже наш самозванный предводитель Юрка, бывший Вере ровесником.

Рассказать об этом открытии Андрею мне даже и в голову не пришло, хотя для всей нашей палаты оно стало главным событием дня, это уж точно. Власик время от времени, выпучивая глаза, хватал себя за грудь, и мы все ржали, как заговорщики, поглядывая теперь на Веру с особым интересом. Общий, никому не понятный смех объединял не хуже футбола.

Но что-то непонятное сближало меня и с соседом-очкариком. Иногда, уже в темноте, перед сном, он делился своими научно-интимными предположениями о возможных маршрутах космических аппаратов к нашей Земле – из миров других цивилизаций. Ночной заговорщический шепот раздражал пацанов, они дружно шикали в сторону моего угла, и это тоже крепило личный с Андрюхой союз.

Вот, наверное, почему Власик прибежал тогда именно ко мне! Прямо на городошную площадку, чуть не угодив под уже брошенную по городкам битую, и потащил к нашему корпусу, по дороге рыча на всю округу: «Твой очкарик вор!»

До конца смены оставалось два дня, и самые нетерпеливые пионеры принялись загодя собирать чемоданы. Тогда Юрка и обнаружил, что у него пропала подаренная отцом ко дню рождения авто-ручка, специально привезенная младшему Власику в лагерь.

Юрка перевернул, перерыл вещи всех нас, включая тумбочки и кровати, причем в наше отсутствие. А обнаружил драгоценную ручку под подушкой у Андрюхи-очкарика.

Когда Власик втолкнул меня в палату, на место, так сказать, доказанного преступления, там уже было пять пацанов-пионеров из близкого круга Власика, а на своей развороченной кровати сидел с низко поникшей головой Андрей, и было заметно, что его уже колотили. Он хлюпал разбитым носом, прижимая к нему платок, и на платке была кровь.

— Как ты мог?! — потрясенный произошедшим, вскричал я и замахнулся на него, осознав в тот момент, что Андрей как бы предал еще и нашу дружбу, доверие.

Андрей не поднял головы. Он сидел, как сидят иногда старички, уже готовые к смерти.

Власик вскричал, обращаясь прежде ко мне: «Он ворюга! У своих украл! Мне батя ее подарил! Мы ему навалили, теперь твоя очередь! Он от всех должен получить! От тебя тоже!»

Пацаны возбужденно потащили Андрюху из палаты за корпус, к глухой стене, прямо напротив оврага. На задворки. Андрей сжимал в кулаке свои инвалидные, перевязанные ниткой очки. Я заметил, что одного стекла в очках не хватало, и уцелевшее второе было похоже на лупу, которая рассматривала нас снизу, будто вместо отрешенного от происходящего Андрея.

Все встали вокруг и закричали в один голос: «Бей! Бей его!»

Андрей стоял ко мне боком, ссутулясь, незряче смотрел в землю. Я презирал его в эту минуту. Меня тоже подхватил коллективный, морально обостренный пионерский азарт, и я ударил его кулаком в плечо. Он на мгновение взмахнул головой в мою сторону и подслеповато скользнул по мне глазами, но вряд ли без очков что-то различил.

Власик возмутился:

— Э! Так не бьют! Ты давай со всей силы!

И я ударил Андрюху в то же плечо еще раз, да так, что он охнул, отлетел и присел на колени.

— Иди отсюда, гад! — крикнул Власик.

Когда мы остались одни, Власик подошел к краю оврага и предложил проверить, чья струя улетит дальше. Мы стали в ряд и напряжились изо всех сил, ревниво поглядывая на остальных. Моя, неожиданно для меня самого, оказалась настолько успешной, что привела всех почти что в восторг, и меня охлопывали по плечам до самой палаты.

Андрюха вернулся к отбою. Тихо лег под одеяло, ко мне спиной. И до самого отъезда ни разу не посмотрел мне в глаза, не сказал ни слова.

Его шалаш разорили, разбросали, и нетрудно догадаться кто. Я постоял там перед отъездом, как говорится, на пепелище оборванной прежней жизни.

Разглядел среди увядшего, высохшего до хрупкости папоротника клочки бумаги. Поднял один, на нем рукой Андрея был прочерчен то ли химическим карандашом, то ли чернильной ручкой фрагмент Ойкумены.

Прости, Андрей! Я долго вспоминал твою смиренно опущенную голову и как ты не хотел смотреть нам в глаза. Только спустя годы я начал подозревать почему. Ты прятал глаза не от стыда, ты жалел нас! Потому что мы могли увидеть в твоих, как в зеркале, отражение нашего стадного азарта палачей!

Прости, что я оказался в стае, что поднял на тебя руку! Мне сегодня все равно, украл ты эту проклятую ручку Власика или брал лишь на время, но не успел вернуть! Где бы ты сейчас ни был, жив ты еще или уже нет, прости меня, Андрюша! Я знаю, мой голос найдет тебя везде, где бы ты ни был, Андрюша, потому что по-другому не может быть ни за что!

